И СНОВА — МУЗЫКА...

85 лет назад в Симбирске родился один из самых известных советских эстрадных композиторов Александр Варламов — представитель рода, давшего Отечеству несколько видных деятелей культуры. Семья Варламовых поселилась в Симбирской губернии, видимо, в первой половине XIX века. В «Симбирских губернских ведомостях» за 23 сентября 1854 г. в разделе объявлений я разыскал сообщение: «...титулярный советник Варламов приехал из имения». Не исключено, что имелся в виду Д. Е. Варламов — родной брат знаменитого русского композитора XIX века, автора прекрасных романсов (таких, как «Красный сарафан»), в том числе и на стихи симбирских поэтов. Его сын, А. Д. Варламов, дед нашего юбиляра, занимал ряд заметных должностей в Сенгилеевском уезде и в Симбирске. Отец композитора симбирский дворянин В. А. Варламов учился с В. Ульяновым в Симбирской классической гимназии и запечатлен на известном выпускном снимке 1887 г.

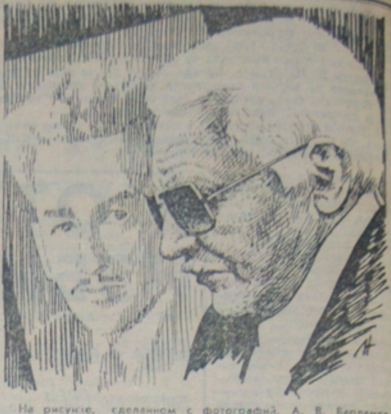
С первых лет жизни А. Варламова приобщали к музыке. За это мы должны быть благодарны его матери М. Н. Варламовой, выпускнице Московской консерватории, и его тетке Н. О. Степановой-Шевченко — оперной певице, певшей в театре С. Зимина вместе с Ф. И. Шаляпиным.

В Симбирске он начал учиться во второй мужской гимназии и в частной музыкальной школе. В 1912 г. в местной типографии были отпечатаны его первые произведения — пьеса «Грусть» и вальс «Вечерок». В нашем крае прошли первые четырнадцать, но как это часто бывает у музыкантов, решающих лет жизни композитора. Здесь его истоки и корни.

Газета публикует сегодня материал, стирающий «белое пятно» в непростой биографии Варламова. Когда читаешь его, еще раз осознаешь, как мы все ограблены сталинщиной. Композитор мог погибнуть в кровавой мясорубке, как погибли сотни тысяч талантливых людей. Вместе с ним погибла бы и ненаписанная им музыка. Но он выжил, выпрямился и продолжает служить искусству. Осенью этого года фирма «Мелодия» выпускает его новую пластинку с записью «Концерта для трубы с оркестром», посвященного Ульяновску.

С юбилеем, дорогой Александр Владимирович!

С. ПЕТРОВ,
краевед.



На рисунке, сделанном с фотографий, А. В. Варламов в годы, предшествовавшие аресту, и в наши дни.

Тщетно было бы искать в первом томе Музыкальной энциклопедии, изданном в 1971 году, имя советского композитора и дирижера, создателя знаменитой джазовой «Горячей семерки» и первого биг-бенда Всесоюзного радио, руководителя Госджаза СССР, автора популярного фокстрота «Уходит вечер», который пела и под который танцевала в предвоенные годы чуть ли не вся страна, музыки к кинофильмам (среди них такие знаменитые, как «Квартет», «Лиса-строитель», «Доктор Айболит», «Парень из тайги»). Имя Александра Владимировича Варламова. Правда, из тома последнего, увидевшего свет десять лет спустя, можно узнать даже то, что в 1979-м Варламову было присвоено звание заслуженного деятеля искусств РСФСР, а из статьи в нашем журнале (№ 3 за 1983-й) много подробностей вполне благополучной биографии талантливого музыканта. Однако оказывается почему-то после войны не в Москве, а в далекой Караганде... Но лишь сейчас поднялся занавес над тринадцатью годами его жизни, которые сам композитор назвал годами остановившегося времени.

...1942 год. Идет война. Почти все музыканты Госджаза на фронте, многие погибли под Вязьмой. Александр Владимирович создает из освобожденных от армии по состоянию здоровья и вернувшихся после ранений инструменталистов «Мелоди-оркестр»: три скрипки, альт, виолончель, два фортепиано, саксофон. Необычный, но настоящий свинговый состав из великолепных струнников (скрипачи окончили Московскую консерваторию по классу Л. М. Цейтлина!) звучал превосходно, играли даже «Голубую рапсодию» Гершвина. Выступали в госпиталях, в воинских частях. Солисткой «Мелоди-оркестр» была известная певица, исполнявшая песни народов мира, Н. А. Полевая-Мансфельд. Поскольку она владела иностранными языками, ансамблю предложили подготовить специальную программу для союзников — английских и американских моряков.

16 января 1943-го репетировали, как обычно, в клубе имени Ногина. Во время перерыва неожиданно погас свет, а когда зажегся, Александра Владимировича Варламова в клубе уже не было...

— Меня в это время люди в форме НКВД везли на машине домой, в Сверчков переулок. Там шел обыск, рукописи швыряли на пол. Что искали — не знаю. Оттуда — на Лубянку. Я был совершенно спокоен, уверен, что произошло какое-то недоразумение: музыкант, к политике никакого отношения не имею, вины никакой за собой не чувствую. Въехали во двор. Меня привели в какую-то комнату...

Первый допрос был коротким. Поразили слова следователя: «Вы не в милиции, а в НКВД. Здесь вы можете говорить все: о ком угодно, что угодно, даже про Советскую власть. Но должны сказать и то, в чем вы перед нею виноваты! Всего хорошего, идите в камеру и там подумайте!». Угрожающе: «Подумайте!». А потом началось планомерное уничтожение личности. Тут все шло в ход — слепящий свет, направленный прямо в лицо, сжигающий глаза, чудовищные по нелепости обвинения: «Нам известно, что вы хотели предать Родину, бежать на английском крейсере. Нам известно — вы ждали в Москве немцев. Нам известно, что в случае захвата фашистами советской столицы вы должны были возглавить мюзик-холл. Где собирались его открыть?». Однажды я не выдержал и в сердцах крикнул: «Да здесь, где мы сидим, на Лубянке!». Кажется, до них не дошел трагический юмор моего заявления.

— Но все-таки что произошло? Из-за чего вы оказались на Лубянке?

— Донос. Был у нас в оркестре один «черный человек», виолончелист. Говорят, сам хвастался, что за меня ордер на машину получил. Счастье его — не дожил до моего возвращения...

Допросы проводились обычно поздно вечером. И, знаете ли, иногда даже рад бывал, когда вызывали, — так тягостно было в камере от своей беспомощности, бессилия, так хотелось верить в какую-то отдушину...

— Сколько же месяцев вы провели в тюрьме?

— Месяцев девять. Может быть, чуть меньше или больше. Время для меня остановилось... Но я старался не падать духом. Внушал себе, что это — одна жизнь, а есть другая, за окном. Я дождусь ее. Дождусь!

Лубянка. Лефортово. Бутырки.

— Простите, вас били?

— Били всюду. Зубов я лишился сразу же, на Лубянке... Помню, еще там, на свободе, кто-то в ресторане Дома композиторов рассказывал, что Генрих Густавович Нейгауз вернулся с Лубянки без зубов. Я ужасался: «Как же так! Такой уважаемый человек! Такой музыкант!». А когда выбили мне, понял, что человек здесь не имеет никакой цены. Но самая страшная тюрьма была Лефортовская — пыточная. Среди заключенных ходила версия, будто еще до войны пыточных дел мастеров там консультировали гестаповцы...

В Лефортово, например, был пресс. Ставили тебя между двух пластин и начинали их завинчивать, сдавливать грудь, пока кости не захрустят. Или бросали в маленькую камеру, каменный мешок, где ты ощущал сначала ледяной холод, а потом такой страшный жар, что лопались сосуды. Стараюсь не вспоминать об этом, не позволяю себе. Но вот во сне... Унижение, уничтожение, пытки, которым подвергали, причиняли боль не только физическую — больно становилось душе. И безразлично уже было — подписывать или не подписывать ту ересь, что подсовывают. Я, например, подписал, отказавшись даже читать.

Последней моей инстанцией была Бутырская тюрьма. Меня там вдруг посадили в одиночку. Что бы могло это значить? Тревожно. Ночью под окном раздавались выстрелы, залпы — во дворе расстреливали. Утром, на прогулке, заметил — вся стена пробита пулями. На Лубянке-то обычно стреляли в затылок, неожиданно, когда человек шел по коридору...

— Долго вы томились в этой страшной одиночке?

— Недолго. Не выдержал, позвал надзирателя: «Не могу больше слышать по ночам выстрелы. Переведите в другую камеру...». Повели меня из одиночки вниз по лестнице, по длинному коридору — предчувствие плохое. Вывели в большой центральный двор. Я обмер — человек двадцать с автоматами стоят полукругом. Как сквозь сон услышал команду: «Направо! К стене! Лицом!». Повернулся лицом к стене... и вдруг мне стало все абсолютно безразлично. Не страшно. Хотя я понимал, что это — конец. Сколько так простоял, не помню. Слышу: «Повернись! Направо!». Меня буквально втолкнули в какую-то дверь, протащили по коридору, наконец, я оказался в камере, битком набитой людьми. Что это было? До сих пор не знаю. Кто отменил расстрел? Почему?

А через несколько дней объявили приговор — на маленькой полоске бумаги было написано: «Решением Особого совещания такой-то приговаривается к восьми годам лишения свободы, с отбыванием их в лагере». Мне было тридцать девять лет!

— Где же вы оказались?

— В Ивдельлаге. Это на Северном Урале. Везли нас туда в так называемых столыпинских вагонах, с зарешеченными окнами. В те годы их цепляли почти к каждому пассажирскому составу. Потом пересылки. Свердловск. Челябинск...

Хотелось сказать ему:

— Простите, простите, Александр Владимирович, что возвращаю вас мыслями в страшное прошлое, мучаю. Тяжело, ваша боль отзывается в сердце, но журналистская профессия заставляет вместе с вами идти этими кругами ада, заставляет спрашивать и спрашивать:

— Ну а потом? А дальше?

— А дальше? Довели нас до лагеря. Поставили перед воротами на колени, чтобы не разбежались. Да куда бежать? Кругом тайга, настоящая, глухая.

Сосны и ели, сосны и ели,
Как вы ужасно нам
надоели...

— Что за стихи?

— Лагерный фольклор. Сами понимаете, несколько облагороженный. Сейчас многое уже забывается, проходит в воспоминаниях, как в тумане — ужасные бараки, грязные нары. Урки, шмон, вертухаи — жаргон. А тогда? Тогда первым делом — в медпункт. Да нет, не подлечить, а определить степень трудоспособности. Врач там был необыкновенный красавец-бессараб (вообще в этом лагере почему-то оказалось много бессарабов).

— Врач — из заключенных?

— Конечно. Даже начальником клуба для вольнонаемных служил бывший заключенный — Шевчук, скрипач, ученик Витачека. Над кроватью у него висела фотография Елены Фабиановны Гнесиной с дарственной надписью. Кстати, он владел бесценным сокровищем — скрипкой работы Гварнери! Когда меня приводили под конвоем в клуб, чтобы я мог воспользоваться фортепиано, Шевчук неизменно совал тайком котлетку или кусочек мяса... Но это все было гораздо позже. А тогда красавец-бессараб, знавший, что я — музыкант, поначалу решил меня госпитализировать, но, подумав, сказал: «Отправлю вас лучше на лесоповал, на вспомогательные работы: сучья подбирать, костры жечь...». Сперва меня даже досада взяла, но как он оказался прав!

В арестантском вагоне я ехал вместе с московским рабочим, токарем высокого класса, звали его Колей. Так вот уже в лагере я узнал, что он в больнице, и пошел проведать его. Оказалось, Коля не болен, а просто отлежаться хочет, немного силы сохранить. Через неделю он умер.

— Значит, все-таки был нездоров?

— Представьте себе, нет. Обессилевшему, голодному человеку ни в коем случае в лагерных условиях нельзя ложиться. Это смерть. Организм перестает бороться. Так что врач знал свое дело...

На лесоповале подружился я с замечательным ученым, биофизиком Александром Леонидовичем Чижевским, основоположником гелиобиологии. Работал он санитаром в медсанчасти, помню, таскал за собой какого-то барана, кровь которого использовали для вакцины от сифилиса. Когда я стал заниматься джазом, мне удалось взять Чижевского в костюмеры.

— Это у вас возникла идея организовать лагерный джаз-оркестр?

— Совсем нет! У начальника Ивдельлага по фамилии Долгих. Высоченный был детина. Приход его в зону надо было видеть! Появлялся он, ну, по крайней мере, как сам Сталин. Сначала шли охранники с автоматами, потом свита, только после этого — Долгих собственной персоной. Рядом с ним адъютант — записывать поручения его милости. Заместителем был некто Борисов. Вот он-то и вызвал меня: «Хотим, чтобы в лагере был оркестр. Поручаю это вам!». А во мне вдруг такой гонор взыграл: «Я оркестрами не занимаюсь!». Он опешил. Даже говорить стал как-то помягче: «Ну что вы тут ерундой будете заниматься, пропадете. В оркестре ведь и свободы будет побольше, и еды. Музыкантов я вам найду».

— Кто же оказался у вас в оркестре?

— Заключенные. Двенадцать человек. По разным лагпунктам собрали, разрешили выписать из дома ноты и инструменты. Помню, например, был у нас саксофонист Суржиков, виолончелист Миша Гессель. Он совсем погибал от голода, до помойки дошел, а это — конец. Оркестр спас его. А однажды мне сообщили, что приедет из дальнего лагпункта Дмитрий Данилович Головин, еще недавно знаменитый солист Большого театра. Потом выяснилось, что его тоже долго не могли заставить петь, не подчинялся приказу. Только узнав, кто будет руководить оркестром, согласился: мы были знакомы еще по Москве, встречались в доме актрисы Малого театра Гондатти (я дружил с ее сыном).

(Окончание на 12-й стр.)

И СНОВА — МУЗЫКА...

(Окончание.
Начало на 6-й стр.)

Так мы собрались вместе: Головин, Чижевский, я и совершенно неизвестные мне музыканты, голодные, без сил, зачастую с возможностями ниже средних. Был среди них даже мальчишка-валетчик. Пожалела его начальница КВЧ (культурно-воспитательной части): «Возьмите, может, исправится. Способный, чечетку хорошо бацает». Парнишка оказался музыкальным, научили его немного играть на саксофоне, партии я специально адаптировал. Он буквально не отходил от меня, так и болтался всегда рядом.

— Какой же у вас был репертуар?

— Ну, во-первых, репертуар Головина: он исполнял и оперные арии, и советские песни, и джазовые вещи. Были у нас солистки — Кушелевская и Браньцова. Браньцова — певица с очень хорошим голосом (из репрессированной семьи служащих КВЖД), прекрасно, между прочим, пела романс моего прадеда, Александра Егоровича Варламова, «Красный сарафан». Кроме того, мы, конечно, играли джаз, по-настоящему играли, возможность репетировать у нас была. Концерты для заключенных проходили в лагерной столовой, на маленькой сцене.

— Значит, выступали только перед своими?

— Нет, что вы, ездили по всем нашим лагпунктам, а было их девять.

— Пользовались успехом?

— Еще бы! Недавно, на Неделе Совести, которая проходила во Дворце культуры МЭЛЗ, ко мне вдруг бросилась какая-то седая женщина: «Александр Владимирович! Мы же с вами в одном лагере были! Граждане! Если бы вы знали, сколько радости нам доставлял оркестр Варламова. Какая это была отдушина для заключенных!».

А в незабываемый День Победы (все мы, конечно, были в курсе фронтовых дел), как только я узнал о конце войны, крикнул: «Весь оркестр сюда, скорее!». Три трубача и тромбонист выскочили на площадь перед столовой и заиграли торжественные фанфары! Какое ликование было в лагере! Начальство, представьте, насторожилось. Вот ведь интересно, почему-то всегда в преддверии и во время праздников — первомайских, ноябрьских — ставилась дополнительная охрана, пулеметы. До сих пор не понимаю — зачем? Бунтовать никто не собирался, люди просто хотели немного порадоваться.

— К вам, артистам, отношение все-таки, наверное, было особенное?

— Смотря с чьей стороны. Когда, например, за какую-то провинность я снова был сослан на лесоповал, то моим бригадиром там оказался уголовник, здоровый такой детина. Вдруг он сказал мне: «Место ваше будет у костра, подбрасывайте в него ветки. Я не позволю, чтобы вы лес пилили». Пиджак, правда, у меня там урки сперли, но как только он узнал об этом, через полчаса пропажа была на месте. Стащат где-нибудь махорочки, несут — угощайтесь. Уважение к артисту! А вот однажды, во время концерта, Дмитрий Данилович Головин пел «Песню о Москве» Дунаевского, а там были такие слова: «Мы вернемся в наш город могучий, где любимый наш Сталин живет». Не захотел Головин произносить имени «вождя всех народов» и этот куплет пропустил. Как на него набросились начальнички! Тут же распорядились обрить наголо и отправить на бревнотаску.

— Что же давало силы, помогало сохранить в себе человека?

— Не хотел бы говорить о тех добрых делах, что мы старались друг другу делать. Но выжили. А жить было очень тяжело. Когда джаз разогнали (ждановское радение о чистоте вкусов 48-го года и здесь сыграло свою роль), я стал работать нормировщиком. Голод, холод, но — подальше от начальства. Так у нас один год не было никакой воды, кроме снеговой, а летом — болотной. Ею умывались, ее пили, на ней варили баланду. Даже хлеб был не ржаной, а кукурузный, рыжий какой-то... Худо пришлось. Но знаю, что прошел в Ивдельлаге огромную школу ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. Узнал цену дружбы. Стал разбираться в людях, понимать их. Главное же — научился ценить свободу...

— И вот, наконец, подошел срок вашего освобождения...

— Я уже говорил вам, что время для меня остановилось. Но ровно за год до конца срока завел себе все-таки календарь и отмечал в нем каждый прожитый день. Календарь кончился, а меня не отпускают. День проходит лишний, другой...

— В отчаяние впали?

— Нет, решил скандалить (научился кое-чему от урок). Прихожу к начальству: «Граждане начальники! Что же это такое? Ведь срок мой кончился?». А он мне: «С вами разбираются». Наконец, организовали этап и отправили нас, несколько человек, в Свердловск. И вот там начальник тюрьмы объявил, что я направляюсь в Карагандинскую область — в бессрочную ссылку. «То есть как это в ссылку? Нет у меня такого в приговоре!» — «Получено специальное распоряжение!».

И вдруг я понял: у меня вновь отбирают все — любимого человека, который ждет в Москве, дом, музыку. Перспективу! Ведь все эти восемь лет я жил только надеждой на то, что будет впереди. И вот — ссылка!

— Это был один из самых страшных моментов?

— Отчаянный! И снова поезд, снова конвойный, и нас, ссыльных, четверо (трое мужчин и женщина — милая Мария Александровна, жена бывшего эстонского министра). Наступает ночь. Конвойный говорит: «Ну вот что, братцы, ложитесь-ка спать, и я ложусь». Приладил свою винтовку под бок и захрапел. А я глаз не могу сомкнуть, и одна мысль бьется: «Ссылка! Конец всему!». С пересадками добрались до места назначения, городка Карсакпая, конвойный поместил нас в каком-то бараке и отправился в НКВД. А утром заявляет: «Дела ваши я сдал. Всего вам лучшего!». И ушел. Я вдруг почувствовал даже какую-то тревогу — как же это без солдата, без охраны? Ведь могут обидеть... Подошел к двери, а открыть боюсь — ну как выстрелят. Потом все-таки открыл. Вижу двор — пустой, стоят умывальники. Разделся до пояса, стал мыться холодной водой и думаю: «Не может быть, что никто никогда больше не ткнет в спину прикладом...». И вдруг пришло ощущение свободы! Какое же это удивительное, драгоценное чувство!..

— Так началась ваша жизнь ссыльного в Карсакпае. Вы устроились на работу?

— По совету Марии Александровны — в детский садик, играть детям песенки. Очень опасался, что пальцы совсем потеряли гибкость, разминал их, пробовал клавиатуру. Заведующая поставила на пюпитр ноты, смотрю, а это песенка Юры Слонова, моего сочленника и друга. Все в душе перевернулось: вот ведь как — Юра в Москве, сочиняет...

— А как же вы оказались в Караганде?

— Начальник местного НКВД поспособствовал. Он получил новое назначение, и попросил я его сделать доброе дело. Караганда — большой город, там жизнь. Стал я преподавать сначала в музыкальной школе, потом в училище — теорию. Работал в театре, писал музыку к спектаклям, дирижировал (русской труппой, между прочим, руководил очень хороший режиссер Лурье, помощник Михоэлса). Главное же, у меня появились два дружественных дома: пианиста Рудольфа Германовича Рихтера, игравшего до ссылки в московском оркестре под управлением Криша, и Александра Леонидовича Чижевского. Александр Леонидович страшно нуждался, просто бедствовал. В его комнатке стояли топчан и деревянные козлы, на которые положена была доска, — стол ученого. Как жаль, что я, музыкант, ничего не понимал в его исследованиях солнечной активности и ее влиянии на биосферу. Чижевский же был блестяще образованным человеком, знатоком живописи, музыки, литературы; сочинял стихи (кстати, донес на него один весьма известный, маститый писатель, с которым Александр Леонидович на дачной террасе поделился тревожными мыслями о положении на фронте). Он много раз писал Сталину, что готов работать в специальной лаборатории НКВД, где трудились репрессированные ученые, но ответа не получил — его наука не имела прямого отношения к оборонным делам. После реабилитации Чижевский прожил всего лишь восемь лет!

— Смерть Сталина внесла какие-нибудь изменения в вашу жизнь?

— Нет. Как вы понимаете, любви я к нему не испытывал, однако поначалу появился не то чтобы страх, а какая-то неуверенность — вдруг опять посадят. 5 марта 1953 года поздно ночью поймал какую-то передачу на немецком языке и услышал: «Смерть Сталина — это событие, которое вряд ли сыграет большую роль в истории, а вот то, что умер Сергей Прокофьев — великая печаль для мирового искусства!». На следующий день наше инструментальное трио выехало с концертами на казахский курорт «Боровое». Я зашел за разрешением в НКВД, а начальник вдруг мне говорит: «Ну, теперь вам будет хорошо. Думаю, и нам тоже...».

Прошло еще целых три года. С оркестром Карагандинской филармонии мы приехали на гастроли в Новосибирск. И вот там, в НКВД, мне и вручили письмо, в котором лежал документ о реабилитации — за недоказанностью преступления. Бережно храню его до сих пор. Ни одного дня после получения паспорта не мог усидеть в Новосибирске. В Москву! В Москву! В Куйбышеве на вокзале шесть часов ждала меня тетя, сестра так и не дождавшейся моего освобождения мамы. Помню, совала мне какую-то курицу. Мы плакали...

В Союзе композиторов меня восстановили быстро, я начал сочинять музыку для мультфильмов — «Дикие лебеди», «Чудесница», «Спортландия», «Шайбу! Шайбу!».. А с жильем еще долго плохо было, и какое-то настороженное отношение со стороны бывших коллег чувствовалось...

Прошлое свое приходилось скрывать. Ведь вернувшись в Москву, прежде всего я должен был явиться в прокуратуру. И когда там прокурор торжественно напутствовал меня: «Живите в свое удовольствие!» — я все ждал, что он добавит: «Извините за все». Услышал, однако, совсем другое: «Но о том, что были репрессированы, никому ни слова, ни звука». Вот и молчал... Мы давно уже привыкли жить шепотом.

Остается добавить немногое. Лишь после того, как Александр Владимирович был восстановлен в Союзе композиторов, он позвонил той, с которой в мыслях не расставался ни на один день, — своей невесте, Ксении Александровне. Той молодой, очаровательной женщине, что играла в «Мелоди-оркестр» на саксофоне. Той, что носила нехитрые передачи в тюрьмы, отрывая от себя в голодные, карточные годы по крохам продовольствие. Той, что, пока не запретили, посылала в Ивдельлаг не только письма, полные любви и нежности, но и ноты, виолончельные струны, репертуар для лагерного оркестра. Той, которая ждала и дождалась.

Александр Владимирович написал за прошедшие после ссылки тридцать три года много музыки — к мультфильмам, эстрадной, инструментальной, джазовой — музыки, пронизанной любовью к жизни, напоенной светом. Ему, ученику Р. М. Глиэра и М. Ф. Гнесина, удалось выстоять, не потерять индивидуальности, профессионализма, художественного вкуса.

Уже десять лет, как композитор почти ослеп (испытания даром не проходят), но продолжает работать — Ксения Александровна записывает партитуры прямо с клавиатуры. На склоне лет Варламов словно переосмысливает в музыке пережитое. Об этом свидетельствует и Концерт для трубы, и сочиненная два года тому назад рапсодия «Моя жизнь». В ней много горьких эпизодов, трагичен Реквием последней части, но прекрасная, лирическая тема ЖИЗНИ звучит в финале, побеждая!

Н. ЗАВАДСКАЯ